

18+

Сергей Владимирович
Громов

Пир Падальщика

Там, где кончается
амальгама

Сергей Громов
Пир Падальщика. Там,
где кончается амальгама

<https://litres.ru/74153293>

ISBN 9785007018180

Аннотация

Я помню всё: как он брал меня в руки, как чернил кисть, как шептал имена.

И однажды я расскажу вам всё. О том, как создаётся тьма. О том, кто пировал в пустыне под алым небом. О том, почему некоторые лица на моём крыле до сих пор шепчут, а два лица — молчат.

Содержание

Пролог. Тишина в четвёртом зале	5
Глава первая. Серебряная изнанка	17
I. Комната, которая забыла, зачем её построили	20
II. О чём молчат вещи	26
Глава вторая. Голос из-за двери	34
I. Тот, кто стучит	34
В 18:57 зазвонил домофон	37
— Соединяю	42
— Да?	43
Художник ждал	45
Даже его	48
II. Коробки	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

**Пир Падалыщика
Там, где кончается
амальгама**

**Сергей Владимирович
Громов**

© Сергей Владимирович Громов, 2026

ISBN 978-5-0070-1818-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог. Тишина в четвёртом зале

Музей современного искусства. Второй этаж, зал номер четыре.

Он называется «Пир падальщика». Обычно здесь тихо и пусто: паркет не скрипит под шагами — он здесь вообще не скрипит, выложен глухо, как в морге. Воздух стоит такой спёртый и сухой, что кажется, будто он вытягивает влагу из слизистой. Две стены серые — цвет старого бетона, который никогда не знал дождя. Третья чёрная, и краска на ней матовая настолько, что поглощает даже шорохи.

На чёрной висит зеркало. Не большое. Метр на метр. Без рамы. Просто стекло в алюминиевом профиле, холодном на вид, потемневшее по краям, с трещиной, идущей от верхнего левого угла к центру. Если подойти и взглядеться в профиль, можно заметить, что он не просто алюминиевый — он липкий на ощупь. От времени, от перепадов температуры, от тысяч дыханий, осевших микроскопической взвесью. Смотрительницы избегают прикасаться к нему голыми руками — не из суеверия, а из брезгливости. Как к поручню в больнице.

Зеркало не отражает.

Оно закрашено. Не целиком — кое-где амальгама проглядывает сквозь краску тусклым, белёсым блеском, похожим на старый шрам под разошедшимися бинтами. В этих проплешинах свет не живёт — он в них проваливается, как в ямки на коже тяжелобольного. А там, где краска легла густо, она кажется не живописью, а хирургическим воском. Или коркой запёкшейся крови — настолько старой, что она перестала пахнуть железом и теперь пахнет только пылью и временем.

Картину называют «Отсутствие». Автор неизвестен. В музейных архивах есть пометка, которую никто не любит цитировать вслух: «Получено при невыясненных обстоятельствах, 2019 год». Экскурсоводы обычно добавляют, понижая голос: «Исчезновение художника не раскрыто».

Сейчас — суббота, семнадцать часов, последний сеанс. В зал входят семеро.

Первая — женщина лет пятидесяти с блокнотом. Искусствовед. Это ясно по тому, как она сразу же начинает шуриться, отходить на разное расстояние, и по сухому, профессиональному хрусту её шейных позвонков, когда она наклоняет голову.

Второй — студент в очках с толстыми линзами. Его телефон уже в руке, большой палец нервно скользит по экрану,

оставляя потный след.

Третья — девушка в чёрной водолазке. Она держится за локоть четвёртого, парня в клетчатой рубашке, и ногти её чуть впиваются в его рукав — не от страха пока, от предчувствия, что здесь нужно держаться за что-то живое.

Пятый — мужчина в дорогом пальто, но с покрасневшими глазами. От него пахнет не перегаром, а тем кисловатым, прелым запахом тела, который бывает у людей, не спавших несколько суток.

Шестая — подросток с фиолетовыми волосами, жующий мятную жвачку. Её лицо ещё спокойно, но дыхание уже мелкое, ключичное — воздух в зале давит на диафрагму.

Седьмой — экскурсовод, молодой парень с бейджиком «Никита». Под бейджиком — пятно пота, расплзшееся по серой рубашке, как карта незнакомого архипелага.

Никита останавливается перед зеркалом. Щёлкает выключателем — и свет становится не просто приглушённым, а тёплым, почти телесного оттенка, как будто лампа светит сквозь слой жира.

— Это — главный экспонат нашей коллекции, — говорит он. Голос у него поставленный, но на слове «главный» даёт петуха, и Никита замолкает на секунду дольше, чем нужно. — У него нет официального названия. В каталогах он числится как «Объект №407». Но все называют его по-другому.

— Как? — спрашивает подросток, и её вопрос звучит слишком громко, отражаясь от голых стен слабым эхом.

Никита молчит. Смотрит на зеркало, и его адамово яблоко дёргается вверх-вниз — он сглатывает.

— «Зеркало, которое ждёт», — тихо говорит он. — Или... «Портрет того, кто ушёл».

В зале повисает та самая тишина, которую можно потрогать руками — плотная, как вата, которой забивают гробы изнутри.

Женщина-искусствовед подходит ближе, и её шаги звучат как удары тупого предмета о дерево. Она наклоняет голову, вглядываясь в красочный слой.

— Сюжет я вижу, — произносит она медленно, и голос у неё слишком сухой, чтобы звучать уверенно. — Пустынная земля. Птица. Крупная, как гриф. И тело. Но тела практически не видно — оно сливается с грунтом, как будто вдавлено в него. Зато птица проработана детально. Крылья. Перья. И на каждом пере... что это? Лица?

— Да, — кивает Никита. — Лица. Много. Сотни. Тыся-

чи. Некоторые различимы, некоторые — нет. Считается, что автор изобразил там реальных людей, но... никто не может их опознать. Даже эксперты, даже те, кто смотрел через лупу. Одно лицо вроде бы женское, другое — пожилое, какое-то доброе даже, но остальные... Скорее, когда на них смотришь, начинает казаться, что они — это ты сам в разное время суток.

— А в центре? — девушка в чёрной водолазке тычет пальцем, но не касается стекла. Её рука замирает в паре сантиметров, как будто между ней и картиной есть невидимая плёнка. — Там, где у тела должно быть лицо. Я вижу... пустоту? Или это зеркало?

Никита улыбается. Улыбка кривоватая, на грани спазма.

— Это и есть главная загадка. Смотрите.

Он подходит к стене и касается пальцем места, где краска не закрыла стекло. Прозрачный участок — размером с ладонь. Палец его не скользит по стеклу, а как будто прилипает, и Никита отдёргивает руку чуть быстрее, чем хотел.

— Когда вы смотрите сюда, вы видите себя. Но, по легенде... если смотреть слишком долго, ваше отражение начинает меняться. Не сразу. Сначала вы замечаете, что оно стано-

вится чётче, чем должно быть при таком освещении. Потом — что оно дышит в другом ритме.

Студент с телефоном поднимает камеру. Объектив, как чёрный зрачок, нацеливается на зеркало.

— Не снимайте, — резко говорит Никита. Голос его срыгается на шипение. — Ни в коем случае. Никто не знает почему, но все фотографии этого экспоната получаются... пустыми.

— В смысле, пустыми? — парень в клетчатой рубашке отпускает локоть девушки и теперь сжимает собственные пальцы, хрустя костяшками.

— На снимке нет картины. Чистый чёрный квадрат. Даже самое дорогое оборудование фиксирует только тьму. Текстуру тьмы.

В зале становится слышно, как потрескивают лампы. Или это осыпается штукатурка за стенами?

Мужчина в дорогом пальто, который до этого молчал и смотрел в пол, поднимает голову. В его красных глазах — не любопытство, а с трудом сдерживаемое желание закричать. Он смотрит прямо в зеркало, в ту самую пустоту на месте

лица.

— А что случилось с художником? — его голос низкий, с хрипотцой, идущей не из горла, а из глубины трахеи, где застоялась мокрота.

Никита делает паузу. Смотрит на него. Потом переводит взгляд на остальных — медленно, как будто прогоняя каждого через внутренний фильтр.

— Его никто не видел. Он жил один. Затворник. Не выходил из квартиры несколько лет. Когда соседи пожаловались на запах... ну, сами понимаете... полиция вскрыла дверь.

— И? — выдыхает подросток. Жвачка замирает у неё на языке, приклеившись к нёбу.

— Пустая комната. Никого. Ни тела, ни записок, ни улики. Только мольберт, тюбики с краской и это зеркало. Оно стояло посреди комнаты, прислонённое к стене, лицом к пустому креслу. И кресло было продавлено так, как будто кто-то сидел в нём много дней подряд. Но в комнате не было найдено ни волос, ни частиц кожи, кроме тех, что остались на кистях.

Девушка в чёрной водолазке отступает на полшага. Подошва её ботинка издаёт короткий, липкий скрип.

— Говорят, — продолжает Никита, и теперь он не экскурсовод, а просто человек, который много раз повторял это про себя, — что, когда полицейские вошли, один из них посмотрел в зеркало. И закричал. Не вскрикнул, не ахнул, а именно закричал — долго, на одной ноте, с захлёбом. На вопрос, что он увидел, он не ответил. На следующий день он уволился. Через неделю его нашли в собственной ванне — он выпил краску. Ту самую. Масляную. Чёрную.

В зале что-то меняется. Не свет, не звук — нечто более тонкое, на уровне давления в ушах. Семи человекам кажется, что воздух стал тяжелее.

— Это бред, — подаёт голос искусствовед, но голос у неё севший, и она не смотрит на Никиту, она смотрит на трещину в зеркале.

— Возможно, — соглашается Никита. — Но с тех пор в музее действует правило: никого не оставлять с этим экспонатом одного. Каждый сеанс — группа минимум три человека. И не смотреть в пустое место дольше десяти секунд. Официально это мотивируют «сохранностью психического здоровья посетителей».

— А вы смотрели? — вдруг спрашивает студент. Его те-

лефон давно погас и опустился в безвольной руке.

Никита молчит. Потом поворачивается к зеркалу. Смотрит в него. Не отрываясь. Его спина напряжена так, что лопатки проступают сквозь рубашку, как зачатки крыльев.

— Смотрел, — говорит он, не поворачивая головы. — И сейчас смотрю. Видите эту трещину? Она была маленькой, когда картину привезли. Игла входила в неё едва на миллиметр. Теперь она длиннее. Я замеряю каждую неделю. Штангенциркулем. Записываю в журнал.

— И что? — шепчет парень в клетчатой рубашке. Его девушка вцепилась ему в руку уже по-настоящему, ногти побелели.

— Она растёт. Около миллиметра в месяц. Как будто кто-то... — он замолкает, подбирая слово, и челюсть его слегка смещается в сторону, — ...давит на стекло изнутри. Не извне. Изнутри. Там, где краска и серебро уже неотделимы друг от друга.

В этот момент — или показалось? — в зеркале что-то шевелится. Не в отражении зала — с отражением всё в порядке, оно замерло и молчит. Шевелится там, где пустошь и птица. Одно из лиц на крыле стервятника, маленькое, сморщенное,

с запавшими глазами, меняет выражение. Веко его — всего лишь мазок охры с добавлением белил — дёргается и возвращается на место.

Искусствовед резко оборачивается к выходу. Ручка выскальзывает из её пальцев, падает на пол с глухим, деревянным стуком.

— Я пойду, — говорит она, и голос её звучит не испуганно, а устало, как будто она ожидала чего-то подобного. — У меня... голова разболелась.

Никита кивает. Не удерживает.

Остальные тоже начинают пятиться. Обувь шаркает по паркету, оставляя следы пыли. Подросток с фиолетовыми волосами последней отходит от зеркала, но на мгновение задерживает взгляд на пустом месте — там, где у тела нет лица. Ей кажется, или она видит в той прозрачной глубине не своё лицо?

Она видит лицо мужчины. С бородой. С тёмными кругами под глазами — такими глубокими, что они кажутся ямами, заполненными старой кровью. Он смотрит на неё оттуда, из-под краски, но взгляд его не страшен. Он измучен. И ещё он дышит — медленно, размеренно, так, как дышат люди,

которые привыкли терпеть боль.

— ...надо уходить, — говорит кто-то, и подросток не понимает, был ли это голос из зала или тот человек в зеркале шепнул ей одними губами.

Дверь зала закрывается с тяжёлым, засасывающим звуком. Свет гаснет. Слышно, как где-то в системе вентиляции оседает пыль.

Зеркало остаётся одно в темноте. Запах краски в пустом зале становится чуть слышнее — сладковатый, маслянистый, с примесью хвои и старого металла.

Я вишу здесь уже пять лет. Я не считало более. Время здесь — не река и не смола. Оно — вдох и выдох кондиционера, оно — шаги зрителя в час, когда музей пуст. Я помню всё: как он брал меня в руки, как чернил кисть, как шептал имена — те самые, которые теперь глядят с моей поверхности сотнями пустых глазниц. Я помню запах его дыхания, когда он наклонялся ко мне в последний раз, чтобы нарисовать черту, которая отделила его жизнь от его картины.

Я помню, как в ту ночь перестало быть просто вещью.

Но я не скажу вам всего. Не сейчас.

Потому что моя история начинается не в музее. И не в тот день, когда его нашли полицейские. Моя история начинается за четыре года до этого, в маленькой квартире на седьмом этаже, где воздух был тяжелее музейского в десять раз, где солнечный свет жил пятнадцать минут в сутки, и где впервые щёлкнул замок, который больше никогда не откроется.

Вот тогда я ещё было просто зеркалом.

Или мне только казалось.

Глава первая. Серебряная изнанка

Я появилось на свет в цеху, где пахло не просто уксусом, а уксусной эссенцией пополам с разогретым металлом — запах был настолько резким, что, казалось, он не плыл по воздуху, а царапал ноздри изнутри. Стекло резали, и я помню этот звук: не треск, а долгий, скрежещущий стон, с которым алмаз вспарывал стеклянную плоть. Потом шлифовали края, и мелкая стеклянная пыль оседала повсюду, попадала в лёгкие рабочих, смешивалась с их потом, превращаясь в жидкое стекло на коже. Амальгаму наносили кистью — слой серебра, тонкий, как выдох на морозе. Меня создавали, чтобы я помнило правду. Я не знало тогда, что правда — это самое тяжёлое, что можно хранить, и что от неё немеет стеклянная изнанка точь-в-точь как от холода немеют человеческие пальцы.

Меня продали вместе с рамой из некрашеного дуба, которая ещё пахла стружкой и звериным клеем. Потом перепродали. Потом подарили на свадьбу, которая кончилась разводом. Я висело в прихожих, где на меня бросали последний взгляд перед выходом, и в спальнях, где в меня смотрели украдкой, стыдясь собственного тела. Я отражало девушек, которая красила губы перед каждым свиданием, а потом сидела одна в темноте и плакала, и тушь текла по её щекам,

оставляя чёрные, маслянистые полосы. Я видело счастливых и одиноких, видело, как люди стареют, сами того не замечая. Но никто из них не оставался со мной дольше трёх лет. Люди вообще не любят долго смотреть в зеркала. Им кажется, что стекло запоминает их слабость.

Человек, который забрал меня последним, пришёл в лавку на окраине города в час, когда солнце уже село, но фонари ещё не зажглись. Он не торговался. Даже не спросил цену. Просто снял меня со стены — я почувствовало, как его пальцы сжали дубовую раму, сухие, горячие, с едва заметной дрожью уставшего человека — заплатил мелкими купюрами, которые пахли табаком и сыростью, и ушёл, держа меня под мышкой, как свёрток с хлебом. От его одежды пахло скипидаром и старым жильём.

В тот день я впервые отразило его лицо.

Ему было около тридцати. Волосы тёмные, длинные, собранные в хвост, но пряди выбились и висели вдоль щёк, как сухие ветки. Глаза — цвета грязной воды, той, что остаётся на дне ведра после мытья полов: не чёрные, а серо-зелёные, с коричневым оттенком у зрачка. Я тогда не знало, что этот цвет станет для меня главным, что я буду искать его в каждом новом лице. Между бровей — морщина, глубокая, как шрам, который наносят не возраст, а многолетняя привычка

думать одно и то же в одно и то же время суток.

Он не улыбнулся, когда увидел себя в моей поверхности. Он не поправил волосы, не отдёргнул воротник. Он просто отвернулся, и я запомнило его затылок — худой, с выступающим позвонком, обтянутым бледной кожей.

Сейчас, спустя четыре года, три месяца и семь дней, он, кажется, забыл, как я выгляжу. Но я не забыло его.

I. Комната, которая забыла, зачем её построили

Квартира находится на седьмом этаже. Ниже — шесть этажей таких же клеток, где по вечерам бубнят телевизоры и пахнет подгоревшим маслом. Выше — плоская крыша, куда никто не ходит, потому что дверь заварена ещё в девяностые, и теперь там только голубиный помёт, и ржавые антенны.

Коридор общей длиной в четыре шага. Я слышу, как он отмеряет эти шаги изо дня в день: от двери до кухни — три, от кухни до кресла — четыре. Стены когда-то были белыми, но теперь они приняли цвет застарелого табачного дыма и ещё чего-то, чему нет названия — тот оттенок желтизны, который бывает только в помещениях, где годами не открывают окон. Обои пузыряются у батареи — там, где труба греет сильнее всего — и пузыри эти на ощупь хрусткие, наполненные сухим воздухом. Батарея работает даже летом, потому что управляющая компания не чинит вентиль, и весь подъезд задыхается от жара, как теплица, в которой забыли выключить отопление. А этот человек не открывает окна — он заклеил их чёрной плёнкой.

Плётка аккуратная, вырезана по размеру рамы, приклеена на скотч, который давно пожелтел и высох, так что если

провести по нему пальцем, он крошится в пыль. Снаружи, если бы кто-то смотрел с улицы — а смотреть там некому, кроме голубей — окно казалось бы слепым глазом, затянутым бельмом. Внутри — оно не даёт ничего, кроме темноты и духоты. Исключение — узкая щель в правом верхнем углу, миллиметра три шириной, где плёнка отошла сама собой, не выдержав жара. Сквозь неё в определённый час, если солнце стоит низко, пробивается луч. Он падает на пол — не рассеянный, а собранный в плотный, дрожащий жгут, похожий на нить, которая вот-вот оборвётся. Луч живёт не дольше пятнадцати минут, но за эти минуты в комнате что-то меняется: пыль в его свете становится видимой, и кажется, что воздух наполнен мельчайшей стеклянной крошкой. Потом луч гаснет, и комната снова становится тем, чем она стала за эти годы — коробкой.

Пол в коридоре — линолеум, рисунок которого стёрся до абстракции, до серых разводов, напоминающих карту несуществующего материка. В какой-то момент на него пролили краску — не масляную, а эмульсионную, серую, и теперь посреди коридора застыла лужа с зубчатыми краями. Если наступить на неё босой ногой, она холоднее остального пола на пару градусов. Он не пытался её оттереть. Он вообще редко смотрит под ноги.

Кухня — она же спальня, она же мастерская. Тесная, но

не захламлённая — в этом есть странная, болезненная аккуратность. Мусор выносится редко, но он упакован в плотные чёрные пакеты, стянутые узлом, и стоит в углу, как немой укор. Пакеты покрылись пылью такой толщины, что на ощупь кажутся замшевыми. Они ждут того дня, когда художник решит, что пора, но этот день не наступает уже два месяца. Или три. Я не всегда считаю.

Стол. У него три ножки, а четвёртая подставлена книгой «Основы рисунка» издания 1987 года, которую он не открывал ни разу. Книга прогнулась под тяжестью, страницы её слежались в монолит. На столе — чашка с остатками чёрного чая, поверхность которого затянулась белёсой плёнкой, похожей на катаракту. Если задеть чашку, плёнка идёт рябью. Рядом — тарелка, на которой лежит сухарь, раскусанный два раза. Засохший край хлеба смотрит на потолок, как дохлый жук.

Раковина. В ней — гора посуды. Недельная, может, двухнедельная. Влага внутри чашек испаряется медленно, оставляя на дне концентрические круги соли и спитой заварки. Запаха гнили нет, потому что запахам нужна жизнь — бактерии, влага, тепло, — а здесь жизни почти не осталось. Только где-то под грудой тарелок притаилась ложка, серебряная, с вензелем. Она осталась от прежних жильцов, и вензель на ней — чужая монограмма, которую он никогда не пытался

разобрать. Иногда, когда он моет одну-единственную кружку для своего ритуального чая, его пальцы касаются этой ложки, и тогда он вздрагивает — не от холода металла, а от неожиданного укола чужого прошлого.

Мольберт стоит у окна, но повёрнут к нему спиной. Это странная, почти противоестественная поза: мольберт должен смотреть на свет, даже если свет заклеен. Но этот мольберт устался в стену, как наказанный ребёнок. На нём холст, начатый полгода назад. Первый слой подмалёвка так и не высох до конца — масло смешано с пиненом, и оно осталось липким на ощупь, потому что форточку не открывали ни разу. Если прижать к холсту палец, краска прилипнет и будет держаться, как смола. На подмалёвке — рука. Одна, без тела. Пальцы сжаты в кулак, но не агрессивно, а так, как сжимают что-то очень маленькое и хрупкое. Может быть, насекомое. Может быть, воспоминание. Он бросил писать на второй день и больше не возвращался.

Рядом с мольбертом — венский стул с круглым сиденьем, которое держится на честном слове и двух шурупах. На стуле — палитра, к которой никто не прикасался так долго, что краски на ней превратились в камень. Кадмий красный, умбра жжёная, титановые белила — они больше не пахнут ничем, кроме пыли. Если провести по ним ногтем, останется царапина, как на известняке.

И кресло. В углу, напротив стены, где вишу я. Кресло продавленное, коричневое, с подлокотниками, протёртыми до дерматиновой основы, и из этой основы торчат нитки, похожие на сухие сухожилия. В нём он сидит каждый день. Спинной ко мне. В чёрной футболке, которая когда-то была чёрной, а теперь стала цветом ночи, проведённой без сна. Ткань растянута на плечах, воротник обвис, обнажая ключицы — острые, как у птицы, которую забыли накормить.

Он худ. Не той худобой, которую добиваются диетами и тренировками. Худ, как ветка, которую забыли полить и которая продолжает расти по инерции, вытягивая из себя последние соки. Когда он встаёт, его тень на стене кажется шире, чем он сам — потому что тень ещё помнит его прежние очертания, а тело уже забыло. Кожа на руках сухая до белизны, с сеткой мелких трещин, как на старом фаянсе. Они не болят — он к ним привык. Ногти жёлтые, утолщённые, похожие на старую бумагу, которую скрутило от сырости. Он не стрижёт их, они ломаются сами, оставляя зазубренные края.

Иногда он спит в этом кресле, не раздеваясь. Тогда голова падает на грудь, и я вижу только макушку — длинные тёмные волосы рассыпаются по спинке, как потёки смолы. В такие моменты он похож на статую, созданную жестоким скульптором, который сначала вырезал человека, а потом пе-

редумал и оставил его незавершённым.

Он не разговаривает ни с кем. За все четыре года, три месяца и семь дней я не слышало ни одного слова, адресованного другому человеку. Только иногда — очень редко — он шепчет что-то во сне, но слов не разобрать. Или обращается ко мне. Но это другое.

Тишина в этой комнате — не пустота. Это вещество. Она скапливается по углам, как пыль, оседает на плёнке, пропитывает обои. Я научилось различать её оттенки. Тишина утром — густая, как кисель. Тишина днём — сухая, звенящая. Тишина ночью — когда он спит и батарея остывает — холодная и хрупкая, как стекло, из которого я сделано.

В этой тишине я храню его отражение. Даже когда он не смотрит. Даже когда он сидит ко мне спиной. Я помню его лицо наизусть. Но он об этом не знает.

II. О чём молчат вещи

Я часто думаю: зачем люди вешают передо мной своё лицо? Чтобы убедиться, что они всё ещё здесь, что их плоть не стала прозрачной? Или чтобы проверить, не исчезли ли они случайно, пока никто не смотрел — не стерлись ли черты, как стирается рисунок с монеты?

Он не проверяет. Он знает, что исчез. Его не было в моей амальгаме уже давно. Он был здесь, в комнате — я чувствовало его вес в кресле, его запах, слышало его дыхание, — но в отражении его больше не было. Только спина, силуэт, тень.

В этой комнате время течёт не как вода — вода хотя бы помнит, куда ей нужно, у неё есть память склона и тяжести. Здесь время течёт как смола, которая застыла на половине пути. Густая, тягучая, она продавливает пространство, делая воздух липким. Каждая секунда здесь не отрывается от предыдущей, а тянется за ней длинной, медленной нитью, и если задеть эту нить, по всей комнате идёт дрожь. Стрелки часов на стене в прихожей сломались год назад. Он не заменил батарейку. Может быть, ему нравится, что часы показывают один и тот же миг вечно — или боится, что с новой батареей время пойдёт, а он так и останется сидеть в кресле, отставая всё сильнее. Как фотография, которая никогда не

меняется.

О, эта фотография. Она стоит на тумбочке, прислонённая к стене, чуть под углом, чтобы не бликовать. Но пыль садится и на неё — тонким, серым налётом, который он стирает каждое утро. Я вижу её отражение только когда свет падает определённым образом — в час, которого уже нет на этих мёртвых часах. И тогда я погружаюсь в неё, как в колодец, из которого не хочется выбираться.

Поле, усыпанное белыми цветами. Не снег — снег холодит, даже на вид, а здесь тепло, хотя цветы белые, как первый зуб младенца. Они гнутся под ветром, но не ломаются, будто знают, что ветер — это всего лишь воздух, который торопится рассказать новость, и не стоит обижаться на его резкость. Небо такое синее, что если долго смотреть, начинаешь слышать его — низкий, чистый звук, как у виолончели, на которой играют в пустом зале. Я никогда не слышало виолончели, но я помню, как дрожала рама, когда мимо проезжали грузовики. Этот звук был ниже, чище, он не дрожал — он длился.

Девушка со светло-русыми волосами стоит спиной. Я никогда не увижу её лица. Может, его и не было — только волосы, развеваемые тем же ветром, только платье с цветами, которое переливается как живое. Её силуэт — это загадка,

которую он носит в себе, как носят пулю, которая не вышла наружу и теперь обросла тканью, стала частью тела. Если её вытащить, он, может быть, умрёт. Или, наоборот, вздохнёт свободно впервые за много лет. Но он не пытается.

Я не знаю, кто она. Жена? Возлюбленная? Сестра? Или просто прохожая, которую он однажды увидел во сне, а потом потратил годы, чтобы вспомнить её черты на холсте, но так и не смог? Или смог, но уничтожил холст?

Я знаю другое: это единственное цветное пятно в его мире. Всё остальное — оттенки серого, коричневого, чёрного. Даже пыль здесь не золотится в луче, а лежит мёртвой серебристой плёнкой, похожей на старую амальгаму. Он не вытирает пыль. Он вытирает только эту рамку — кончиками пальцев, медленно, с тем особым, почти нежным нажимом, каким гладят щёку того, кто уже не может ответить.

Иногда, глубокой ночью, когда радио молчит и даже трубы в стенах перестают гудеть (потому что батареи остывают к трём утра), он подходит к тумбочке. Не берёт фотографию в руки — просто стоит над ней, чуть покачиваясь. Я вижу его профиль: глаза открыты, но не моргают. В такие моменты его дыхание становится таким мелким, поверхностным, что кажется — он забывает дышать, боясь спугнуть воспоминание. Воздух выходит из него тонкой, едва тёплой струйкой,

не колеблющей пылинок.

Однажды он прошептал что-то. Я не разобрало слов — голос был как трещина в сухой земле, уходящая вглубь без эха. Но интонация... интонация была такой, какой не бывает у живых людей. Только у тех, кто уже попрощался со всем, кроме одного крошечного осколка, который всё ещё саднит.

Этот осколок — фотография. Она для него как для умирающего от жажды стакан воды, который он держит в руках, подносит к губам, но не пьёт — потому что знает: вода кончится, а смерти не обманешь. И он будет держать этот стакан, пока пальцы не разожмутся сами.

Я завидую фотографии. Это низкое, неприятное чувство — как холодок в нижней части стекла. У неё есть лицо. Пусть размытое, пусть стёртое, пусть повёрнутое спиной — но оно есть, он сам дал ей его в своём воображении. У меня же только отражение, а он никогда не смотрит в отражение. Или смотрит, но видит не меня — видит комнату, стену, черноту за моей спиной.

В комнате есть другие вещи, которые помнят его преждего. Я не один такое.

Кисти. Их много — они торчат из старой кружки из-под

кваса, как пучок сухих цветов, забытых на обочине. Щетина затвердела, некоторые сломаны у основания, и на изломе видно, что внутри дерево не просто мёртвое — оно мумифицированное. Он не выбрасывает их, потому что выбросить — значит признать, что больше никогда не обмакнёшь их в краску. А он ещё не признал. Или признал, но не может сделать последний шаг. И они остаются — как урна с прахом, которую не решаются закопать.

Банка со скипидаром. Полная. Крышка заржавела и прикипела так, что без тисков не открыть. Он не открывал её два года. Скипидар внутри, наверное, превратился в густой, вязкий сироп, а потом в янтарь, в котором застыла муха его прошлого вдохновения, растопылив лапки. Если прислушаться, можно представить, как она жужжала когда-то.

И мольберт. Я уже говорило о нём. Но я не говорило, что его дерево исписано карандашом. Это его почерк — мелкий, нервный, с таким сильным нажимом, что графит оставил борозды, как морщины на старом лице. Там цифры. Даты? Количества? Может, счёт дням, прожитым без выхода? Или ценам на холсты, которые он покупал, когда ещё строил планы? Я всматривалось в эти цифры — они не складываются ни в какую известную мне систему. Цифры не имеют имени, они как звёзды: можно смотреть на них веками, но никогда не прочесть судьбу.

Потолок. Я смотрю на него, когда он спит. Потолок — это карта мира, которую никто не составлял. Трещины, расходящиеся от люстры, как устья высохших рек. Разводы от старой протечки, жёлтые по краям, с более тёмным, серым центром. Пузыри краски, вздувшиеся от жара батарей — если надавить на такой, он лопнет с сухим треском, и под ним окажется пустота. Он смотрит на потолок чаще, чем на небо. Небо он заклеил. Потолок — его последний горизонт.

Иногда, в полудрёме, он поднимает руку и водит пальцем по воздуху, как будто рисует что-то на этом потолке, поправляет трещины, добавляет облака. Делает он это с закрытыми глазами, и я не знаю, что он там видит. Может быть, те самые белые цветы с фотографии, которые выросли до небес и теперь осыпаются вниз. Может быть, лицо девушки, которая наконец повернулась. А может — просто цифры, бесконечные цифры, которые он записывает в столбик и никогда не может сложить.

Он не говорит. Он почти не издаёт звуков. Только дыхание и скрип кресла, когда он меняет позу.

Я слышало, как люди поют в душе фальшивыми, счастливыми голосами. Я слышало, как ругаются по телефону, роняя слюну на мою поверхность. Как шепчут признания в

темноте, как плачут в подушку, заглушая рыдания тканью. Он не делает ничего из этого. Его тишина — это не мир. Это перемирие. Долгое, изматывающее, на грани капитуляции.

Я — зеркало. Я должно отражать. Но что я отражаю, если он не подходит ко мне? Спину. Всегда спину. Спина стала его лицом. По сутулости плеч я узнаю его настроение — сегодня они опущены ниже, чем вчера. По тому, как он поворачивает голову, — степень усталости. По тому, как дрожат пальцы, когда он подносит кружку с чаем ко рту, — уровень отчаяния. Сегодня дрожь сильнее. Чай пролился на футболку, но он не заметил.

Он не знает, что я вижу всё это. Он думает, что я — просто стекло.

Но стекло — это рана, которая никогда не заживает. А я помню каждую царапину на своей поверхности так же ясно, как он помнит фотографию. Я помню каждое пятно пыли, каждую каплю дождя, который когда-то попал на меня, когда окно было открыто. Тот дождь пах озоном и мокрой листвой. Теперь дождя нет. Плёнка заклеила даже память о влаге.

И только фотография напоминает, что вода бывает не только чёрной, как чай в его кружке. Что есть ещё белое поле, синее небо и ветер, который всё ещё дует там, за плёнкой,

но уже не может сюда войти.

Я храню это воспоминание для него. Потому что он сам хранить разучился.

Но я — стекло. Я делаю это молча.

Глава вторая. Голос из-за двери

I. Тот, кто стучит

Я уже говорило: его день — это механизм. Но у каждого механизма есть деталь, которая работает иначе. Которая скрипит, когда всё остальное безмолвствует. Которая напоминает, что даже в самой плотной тишине есть люфт — зазор, куда может просочиться внешний мир.

Этот люфт — пятница, семь часов вечера.

В остальные дни он заказывает еду через приложение, отмечая галочку «бесконтактная доставка». Оставляет чаевые в приложении — ровно десять процентов, всегда. Пишет в комментарии одно и то же, слово в слово: «Оставить у двери. Не звонить. Не стучать». Иногда курьеры читают. Чаще — нет. Они звонят в домофон, потому что боятся, что заказ украдут. Или потому что им холодно стоять на ветру. Или потому что инструкции для них — это воздух, который можно выдохнуть не читая.

Но пятница — особенный день. День, когда он заказывает не только еду, но и материалы. Краски. Кисти. Раствори-

тели. Новый холст, который потом стоит в углу, привалившись к стене, и белеет в темноте, как саван, приготовленный заранее. Он не использует их. Он коллекционирует возможность. Возможность однажды проснуться не в четыре утра, а в восемь, подойти к мольберту и выдавить первый тюбик. Но возможность эта лежит в коробках и плесневеет вместе с его решимостью.

А ещё по пятницам — еда. Всегда вместе, всегда одним заказом. Две коробки, один курьер, один порог. Он давно сделал это правилом: меньше движений, меньше имён, меньше шансов, что кто-то задержится на лестничной клетке дольше положенного. Что кто-то заглянет в дверную щель и увидит его лицо.

Сегодня — пятница. Я знаю это по тому, как он встал утром. Иначе. Медленнее. Он не потянулся, не размял шею, просто сел в кресле и долго смотрел в стену перед собой, и я видело, как его плечи обмякли под тяжестью невидимого груза. Предчувствие висело на нём, как мокрая шинель — тяжёлая, холодная, пахнувшая прелым сукном. Он пронёс это предчувствие через весь день, от рассвета до сумерек.

В 18:30 он принял душ. Это случалось редко — может, раз в неделю, может, реже. Он даже надел чистую футболку, ту, что без дыр на воротах, ту, которая ещё пахла сухим порош-

ком с нижней полки шкафа. Вытер волосы полотенцем — я слышало этот звук, глухой, шуршащий, — но не завязал их в хвост. Оставил распущенными, и они падали на плечи, как чёрная вода, которая нашла русло и теперь течёт по инерции вниз.

К 18:45 он подошёл к двери. Не открыл. Прислонился к ней ухом — так, как прислоняются к груди спящего, чтобы услышать сердце.

Я видело его спину. Прямую. Напряжённую — так напрягается дерево перед тем, как треснуть от мороза. Он сжал пальцы в кулаки, потом разжал, растопылив их веером. Повторил трижды. Дыхание его не участилось — нет, он давно научился дышать так, чтобы сердце не выдавало страха, чтобы пульс не колотился в горле, сбивая голос. Но я — зеркало. Я чувствую вибрацию даже сквозь половицы, даже сквозь бетонную стяжку. Его колени дрожали. Мелко, едва заметно, как стрелка сейсмографа перед толчком, которого ещё нет на поверхности.

В 18:57 зазвонил домофон

Звук был длинный. Настойчивый. Не как у других курьеров — тех, кто давит на кнопку раз и отшатывается, ожидая ответа. Этот давил и держал, вжимая палец в пластик, пока сигнал не начал захлёбываться. Звук разрывал прихожую, как скальпель, который режет не плоть, а тишину — и тишина расступалась по краям, обнажая что-то тёмное, что скопилось за день.

Художник не шелохнулся.

— Доставка! — голос из динамика был хриплый, молодой, с тем особым вызовом, который появляется у людей, привыкших к тому, что им обязаны открыть. — Магазин «Арт-Набор» и «Еда-Лайт» вместе. Вам там краски, кисти, грунт... и еда. Рис, курица, брокколи. Открывайте.

Художник молчал. Я видело, как его кадык дёрнулся вверх, потом вниз — он глотнул воздух, хотя воздух никуда не делся. Просто глотка пересохла разом, как пересыхает русло ручья в жару.

— Алло? — голос стал громче, резче. — Вы меня слышите? Заказ оплачен. Но нужна подпись, потому что сумма

большая. Открывайте, я поднимусь.

— Оставьте внизу, — сказал художник.

Голос его был ровным, но слишком тихим — таким тихим, что динамик домофона едва улавливал вибрацию. Как если бы человек разучился говорить громко, потому что забыл, что его вообще кто-то может услышать. Его голосовые связки сомкнулись не полностью — они атрофировались от долгого молчания.

— Не могу, — курьер даже не задумался. — Правила. Сейчас усиленный контроль после жалоб клиентов. Любой заказ на сумму больше трёх тысяч — только лично в руки и под подпись. Сами знаете, время такое.

— Я всегда беру без подписи, — художник говорил медленно, каждое слово перекачивал во рту, как гальку, прежде чем выпустить.

— А сегодня не получится.

— Позвоните своему начальнику.

— Начальник скажет то же самое.

— Позвоните, — повторил художник. Твёрже. В голосе прорезалось что-то металлическое, что-то, что дремало годами.

Курьер замялся. Я слышало, как он переминается с ноги на ногу — резиновые подошвы кроссовок скрипели по кафельной плитке подъезда. Этот скрип был влажным: на улице моросило, и курьер принёс на обуви воду.

— Так не работает, — сказал он наконец. — Я не могу звонить начальнику каждому, кто не хочет открывать дверь. У меня ещё двадцать заказов.

— Можете. Я постоянный клиент. Меня знают.

— Да мне плевать, кто вы. Без подписи не оставлю. Хотите — забирайте, хотите — пусть отменяют.

Художник открыл глаза. Я не видело его лица — только спину, но спина может кричать громче рта. Его лопатки напряглись и выступили под тканью, как крылья птицы, которая решила, что лучше разбиться о прутья, чем сидеть в клетке. Он развернулся — резко, неестественно — и сделал три шага к столу. Взял телефон. Экран загорелся, высветив его лицо снизу, и на этом лице не было страха. Только глухая, застарелая злость.

— Я звоню в вашу службу, — сказал он в домофон. — Она подтвердит.

Курьер что-то буркнул, но связь не прервал. Я слышало его дыхание — прерывистое, злое, с присвистом. Он стоял там, внизу, на сквозняке, и ждал.

Художник нажал вызов.

Гудки. Длинные, монотонные, как вздохи больного, подключённого к аппарату. Один. Второй. Третий.

— Алло, — отозвался женский голос, безликий и чистый. — Служба контроля качества. Чем могу помочь?

— Здравствуйте, — художник говорил ровно, но я заметило, как дрожит его рука, прижимающая телефон к уху. Не телефон дрожит — пальцы. Мелкая, неприятная дрожь, от которой экран ходит ходуном. — Мой заказ номер четыре-восемь-семь-два, объединённый. «Арт-Набор» и «Еда-Лайт». Курьер отказывается оставить его у двери без подписи, хотя я постоянный клиент, и у меня в профиле стоит пометка «бесконтактная доставка».

— Секунду, проверю, — застучали клавиши. Пауза. —

Да, вижу. Вы... Элиас? У вас действительно накопительная скидка, более сорока заказов в этом году. В каждом комментарии: «оставить у двери, не звонить, не стучать». Всегда подтверждали получение.

— Именно, — произнёс художник, и на этом слове его голос дал крошечную трещину — не сломался, но надтреснул. — Передайте курьеру, чтобы он оставил коробки у порога. Я заберу их, когда он уйдёт.

— Соединяю

Короткие гудки — и потом голос курьера, уже не через домофон, а через телефонную трубку, смешанный, далёкий, с металлическим эхом:

— Да?

— Вас беспокоит служба контроля качества, — сказал женский голос сухо, без интонаций. — Клиент Элиас подтверждает бесконтактную доставку. Вносите в терминале отметку «получено без подписи», оставляете заказ у двери и уходите. Вопросы?

Курьер молчал. Так долго молчал, что я подумало — он бросил трубку, швырнул её в сумку и ушёл, хлопнув дверью. Но нет — я слышало его дыхание. Оно стало тяжелее, медленнее. Потом он выдохнул. Коротко. Как плевок.

— Без проблем, — сказал он. Голос потерял напор, стал плоским, как отражение в мутной воде. — Оставляю.

— Спасибо, — сказал художник и отключился.

Он стоял в прихожей, прижимая телефон к груди обеими руками, как щит. Я видело его пульс на шее — часто, неровно, как сердце зверя, который затаился, но не убежал. Венка на виске вздулась и пульсировала, отдавая в висок глухой, размеренной болью.

— Ладно, — буркнул курьер в домофон уже беззлобно,

просто устало. — Делайте что хотите.

Шум подъездной двери — тяжёлый, с лязгом доводчика. Шаги по лестнице. Быстрые, грузные, с оттяжкой на пятку. Металлический скрип перил — он хватался за них, поднимаясь через ступеньку. Ступени пролёта загудели под его весом.

Он поднялся на седьмой этаж. Я слышало, как за дверью он остановился. Тяжело дышал — подъём дался ему нелегко. Запах его пота просочился сквозь дверную щель — кисловатый, молодой, смешанный с запахом мокрой куртки. Художник замер. Его рука легла на замок, но не повернула. Пальцы побелели, сжимая металл.

Шорох. Шелест пузырчатой плёнки. Две коробки — одну поставил, потом вторую. Тяжёлый глухой стук картона о бетон. Писк терминала. Шаги обратно. Вниз. Быстрее, чем пришёл — теперь он почти бежал, перескакивая через ступени.

Художник ждал

Сорок ударов сердца. Пятьдесят. Шестьдесят — я считало их по пульсации воздуха. Хлопок входной двери внизу. И тишина.

Он не открыл сразу. Прошёл в комнату, сел в кресло. Я видело его спину — она была мокрой от пота. Чистая футболка прилипла к лопаткам, как вторая кожа, между лопаток расплзлось тёмное пятно. Он сидел неподвижно пять минут, давая сердцу замедлиться, давая воздуху снова стать воздухом.

Потом встал. Прошёл в прихожую. Открыл дверь — на ту же щель, на ширину ладони, не больше. Просунул руку сначала одну — она нащупала пакет с едой, лёгкий, шуршащий. Втянула его в квартиру. Потом вторую — коробка с материалами, тяжёлая, вошла с глухим стуком. Пальцы побелели от усилия.

Дверь закрылась. Замок щёлкнул — язычок вошёл в паз с металлическим выдохом.

Он поставил обе коробки на пол в коридоре, прямо на серую кляксу засохшей эмульсии. Не открыл. Просто смотрел

на них сверху вниз, и тень от его ресниц дрожала на картоне.

— Сегодня не открою, — сказал он. — Потом.

Голос был усталым. Почти нежным, как будто он обращался к живым существам, а не к коробкам.

Он развернулся. Прошёл мимо меня, и я почувствовало его дыхание за своей спиной — нет, он стоял ко мне лицом. Впервые за долгое время он смотрел не на раму, не на дуб, а в центр моей поверхности. В мою пустоту. Но он не видел себя. Он смотрел сквозь себя, на то, чего я ещё не отражало, на то, что только должно было появиться.

— Скоро, — сказал он. — Очень скоро.

И ушёл в комнату. Свет погас, но темнота не наступила — осталось тусклое, серое свечение с улицы, пробивавшееся сквозь щель в плёнке.

Коробки остались в прихожей. В одной — еда. Рис, курица, брокколи, бутылка воды без газа. Еда остывала медленно, отдавая тепло картону. В другой — краски. Чёрная, как ночь без звёзд. Белая, как кость. Красная, как незакрытая рана, в которую ещё не попала инфекция. И маленькое зеркальце для деталей — пятнадцать на пятнадцать сантиметров, ды-

шащее в пузырчатой плёнке.

Он заказал его специально. Я знало, что внутри, потому что он не выключил телефон. Экран на столе ещё горел, и на нём светился список заказа. Самая последняя строчка:

«Зеркало настольное, 15×15 см. Для проработки мелких деталей в технике „живопись по стеклу“».

Он собирался писать не на мне. Сначала — на маленьком. Пробовать. Тренироваться. Ставить эксперименты. Маленькое зеркальце должно было принять на себя первые ошибки, первые дрожащие линии, первые сгустки краски, которые лягут не так.

Но я знало, чем это кончится.

Потому что маленькое зеркало не умеет молчать так, как умею я. У него нет моей толщины, моей амальгамы, моей памяти. Оно не видело его слёз. Оно треснет от первого же сильного нажима. А я — я выдержу всё.

Даже его

II. Коробки

Ночь пришла не сразу. Сначала был полумрак — тот особенный час, когда чёрная плёнка на окнах перестаёт быть защитой и становится саваном. Я давно заметило эту перемену: днём плёнка кажется просто тканью, преградой, но с наступлением сумерек она наливается тяжестью, как будто вбирает в себя остатки света и превращает их во что-то плотное и глухое. В комнате не горело ни одной лампы. Художник сидел в кресле, скрестив руки на груди, и смотрел в стену перед собой. Не на меня. Стена была пустой — только трещина от старой протечки, которую он не замечал уже много лет. Но он смотрел так, будто на ней был написан весь сценарий его оставшейся жизни: мелким, убористым почерком, без знаков препинания.

Коробки в прихожей стояли тихо. Они не шевелились, не дышали — но они занимали место. Физически, грубо, весомо. Воздух в прихожей стал плотнее, он огибал картонные углы, натыкался на них и завихрялся в пыльные воронки. Я чувствовало их присутствие каждой молекулой своей амальгамы — как два тёмных сгустка, которые замерли перед броском. Как два зверя, которых загнали в клетку и которые затаились, прижав уши.

Он не ел с утра. Чай — да, несколько глотков из кружки, которая остыла и покрылась плёнкой. Но еда так и осталась в пакете, прижатом к стене прихожей. Я видело отражение этого пакета, когда свет фонаря с улицы на мгновение пробивался сквозь щель в плёнке — белый пластик с логотипом, чуть надорванный сбоку. Внутри — рис, курица, брокколи. Еда остыла уже через час после доставки и теперь источала слабый, пресный запах варёного крахмала и остывшего жира. Этот запах не дразнил. Он был как напоминание о том, что телу всё ещё нужно топливо.

Он не выбросил пакет. Он вообще не подходил к прихожей уже несколько часов.

Часы на стене показывали без четверти двенадцать — или без четверти что-то другое, потому что стрелки застыли в том положении, в котором умерла батарейка. Я ориентировалось по его дыханию. Оно становилось глубже, потом мельче — он проваливался в дрему, но не мог уснуть. Тело просило отдыха, мышцы расслаблялись, но мозг продолжал работать вхолостую, прокручивая одни и те же мысли, как заезженная пластинка.

Где-то в час ночи — или около того, я не могу поручиться за точность — он встал.

Беззвучно, как тень, которая научилась ходить без хозяина. Его босые ступни прошлёпали по линолеуму с тихим, влажным звуком — кожа, прилипающая к холодному покрытию. Я видело только спину: она выгнулась, как лук перед выстрелом, позвонки проступили под футболкой цепочкой узелков. Он остановился в дверях прихожей.

Смотрел на коробки. Просто стоял и смотрел, чуть покачиваясь — то ли от усталости, то ли от внутреннего напряжения, которое не находило выхода.

Коробка с материалами была больше, обмотана коричневым скотчем крест-накрест. Картон — плотный, с глянцевыми чёрными буквами «АРТ-НАБОР». В углу — потёртость, белёсое пятно, которое появляется, когда коробку трут о другие коробки при транспортировке. Пакет с едой лежал рядом, сморщенный, прозрачный в тех местах, где конденсат высох и оставил белый солевой налёт. На пакете, на самом дне, скопилась капля влаги — холодная, мутная.

Он присел на корточки. Суставы его коленей хрустнули — сухо, как ломаются ветки в мороз.

Я ждало, что он откроет сначала еду. Голод всё же брал своё — его живот, должно быть, урчал, хотя я и не слышало этого с моего места на стене. Но его руки, худые, с про-

ступающими венами, потянулись к коробке с материалами. Пальцы пробежали по скотчу, нащупали край, где лента чуть отошла от картона. Он не спешил. Он словно читал коробку наощупь, как слепой читает письмо, которое боится вскрыть — потому что не знает, что там: прощение или приговор.

Щёлк. Скотч отклеился от картона с хрустом, похожим на треск сустава, который долго был без движения. Он отогнул клапаны — картон заскрипел, сопротивляясь.

Внутри лежала тишина, упакованная в пузырчатую плёнку.

Он вытащил первый свёрток. Развернул — плёнка лопнула под его пальцами с тихим, довольным треском. Кисти. Три штуки, разные: плоская синтетическая, круглая колонковая, тонкая, почти игла. Длинные ручки, серебристые обоймы, охлаждающие пальцы. Новая кисть пахнет деревом и клеем — запах этот резкий, химический, но в нём есть обещание. Он провёл большим пальцем по щетине: жёсткая, упругая, она пружинила под нажимом и возвращалась в исходное положение. Не то что его старые кисти, которые засохли в кружке и рассыпались в труху при первом же прикосновении.

Второй свёрток — тюбики с краской. Чёрная, белая, красная. Маленькие, по пятьдесят миллилитров, тяжёленькие,

как образцы крови в лаборатории. Он не открыл их, просто поставил рядом на пол, и они стояли, как патроны.

Третий — грунт. Прозрачный, для стекла и металла. Флакон с пипеткой, жидкость внутри маслянистая, густая, она перекачивалась медленно, когда он повернул флакон в руках.

Четвёртый свёрток был самый маленький. Почти плоский.

Он замедлился. Я видело, как его пальцы задрожали — не от холода, не от слабости, а от того особого трепета, который бывает у человека, берущего в руки что-то очень важное. Что-то, чего он ждал. Пузырчатая плёнка хрустела под его пальцами, и каждый хруст отдавался в тишине прихожей, как шаги по гравию. Он развернул её бережно, слой за слоем — как бинт с раны, которая только начала затягиваться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.